

О НЕКОТОРЫХ КНИЖНО-ЧИТАТЕЛЬСКИХ ТЕМАХ ШОЛОХОВСКОГО ТЕКСТА

Предельный литературоцентризм советской культуры повсеместно относят в конце XX в. к одной из устойчивых традиций «учительства» русской классической литературы. Думается, данная ошибка замешана на предельном извращении понятия «учительности» русской классики XIX в. и во многом проистекает из фундаментального неразличения векторов ученичества и учительства в русской и советской литературе. Реабилитируя формулу нечитающего героя, Шолохов, не без глубинной внутренней полемичности к современному советскому культурному процессу, наиболее последователен прежде всего в отстаивании классического полюса в книжно-читательском космосе первой половины XX в. «Нечитатель» - это особая и непростая тема для XX в. русской культуры, если посмотреть на «читательские волны» и массовое народное просвещение, как оно реально складывалось с конца XIX в., с одной стороны, и читательско-книжные сюжеты в русской прозе первых трех десятилетий XX в. Пушкинский «нечитатель» был всегда необходим русской литературе XIX в.; особый интерес к рассказчику-нечитателю, сказителю, приходится на первые десятилетия нового века, когда «небо закрыли книжки» (В.Розанов) и «наука отменила небо» (Платонов). В этой традиции Шолохов расставит свои жесткие акценты, которые не спутаешь ни с кем в литературе XX в. Они обретают особые смыслы, когда мы рассматриваем произведения Шолохова в их совокупности, с одной стороны, и в реальных читательско-писательских контекстах второй половины XIX и первой половины XX вв., с другой. Тема огромная. И лишь на некоторых ее сюжетах мы остановимся.

Начнем с очевидных - с сюжета «новых женщин», в изображении которых Шолохов оказался действительно в арьергарде советской литературы. Лишь одна пара в «Тихом Доне» (Лиза Мохова и Анна Погудко) вписывается в определенную типологическую модель изображения «новой женщины». Читательницей книг Лизой Моховой Шолохов откликнулся на широкий комплекс идей «освобожденной женщины» начала века; Анной Погудко - на изображение «партийной» женщины в прозе 1920-х гг. Типологическое родство столь непохожих героинь устанавливается в их генезисе, уже открытом русским антинигилистическим романом XIX в. К бесчисленным модификациям советской прозой «нигилистического благочестия» (Н.Лесков) новой женщины Шолохов относился, думается, иронически. Станет ли Дуняша Мелихова «новым человеком» или Варюха в «Поднятой целине» - «свободно и отлично действующей во всех областях строительства социалистической жизни» (Горький), - о том Шолохов так и не напишет. Однако он откликнется во второй части «Поднятой целине» на данную тему не без глубинной полемичности к изображению «новых женщин» в советском романе 1920-1940-х гг. Сюжетным центром шолоховского высказывания станет «психологическая» Лушка Нагульнова, с ее «природным дарованием». Начитавшийся политических брошюр Макар Нагульнов формулирует данную тему с той категорично-

стью, с какой пыталась проза 1920-х гг. сделать выбор между «тайное тайных» и революционным долгом: «Лушка - это такой змий, что с нею он (Давыдов - Н.К.) не только до мировой революции не доживет, но и вовсе может скопытиться. Или скоротечную чухотку наживет, или ишо какой-нибудь тому подобный сифилис раздобудет, того и жди! <...> Бабы для нас, революционеров, - это, братец ты мой, чистый опиум для народа! Я бы эту изречению в устав писал ядреными буквами...». Аллюзивные отсылки данного высказывания, контаминирующие чухотку «нового человека» в изображении писателей XIX в. со столь же эмблематичным в его описании для литературы 1920-х гг. сифилисом, самые разнообразные (Вс. Иванов, Б. Пильняк, С. Семенов, М. Булгаков, Л. Леонов и т.д.). Перевоспитанием женщины советская литература займется именно в 1930-е гг. - круг данных литературных идей в шолоховском романе транслирует Давыдов - в отношении «проклятой бабы» Лушки: «Я ее перевоспитаю! У меня она не очень попляшет и оставит всякие свои фокусы! Вовлеку ее в общественную работу, упрошу или заставлю заняться самообразованием. Из нее будет толк, уж это факт. <...> Я не Макар, у них с Макаром коса камень резала, а у меня не тот характер, я другой подход к ней найду», - так, явно переоценивая свои и Лушкины возможности, самонадеянно думал Давыдов». Авторскую ремарку о бедности арсенала средств перевоспитания Лушки и «самонадеянности» Давыдова подтвердит через страницу сама героиня, давшая, может быть, один из самых филигранных в своей афористичности комментариев к теме перевоспитания женщины: «Думала, что ты человек как человек, а ты вроде Макарки моего: у того одна мировая революция на уме, а у тебя авторитет. Да с вами любая баба от тоски подохнет!»

По меткому замечанию критика А. Лежнева, в советском романе 1930-х гг. практически распался, «потерял свой смысл» любовный треугольник русской классической романа, где «Она» является основным звеном: «... нет и самого треугольника, как нет *трех* сторон, которые были бы в *одинаковой* степени важны и необходимы <...> это роман не треугольника, а «пары сил», противоположных по знаку и заставляющих вращать «колесо» произведения»¹. В истории любви Лушки модель «пары сил» не просто удвоена (с одной стороны, представители власти коммунисты Нагульнов и Давыдов, с другой - социальный маргинал, кулак Тимофей Рваньи), она имеет чисто фабульный характер. В сюжете истории любви, как его выстраивает Шолохов, именно «Она» (Лушка) остается его основным звеном. Рассказ Разметнова о встрече с городской Лушкой, изменившейся в городе явно не в сторону «сознательности», а десятилетиями атакованного советской литературой мещанства, читается как одна из реплик Шолохова к теме города и деревни советской литературы (реальный историко-литературный контекст). А шире, к опытам рационализации жизни в культуре XX века: «Вот она, наша жизненка, ребята, какими углами поворачивается! Иной раз так развернется, что нарочно не придумаешь!».

Шолохов, прошедший мимо аллюзивных игр с мотивами сочиненности и иллюзией реальности (одна из устойчивых стилистических тенденций прозы XX века), расставляет и в приведенном фрагменте свои устойчивые и опознавательные знаки: перед тайной жизни меркнет тайна ее - жизни - придумывания. Однако характерная для прозы XX в. аффектация мотивов сочиненности, вымышленности, недостоверности обретет у Шолохова не только своего транслятора, но и одновременно - интерпретатора-аналитика. Даром повествования наделены в художественном мире Шолохова прежде всего прирожденные рассказчики: Христоня, Авдееч, Прохор Зыков - в «Тихом Доне»; Шукарь - в «Поднятой целине»; Лопухин - в «Они сражались за родину». Эти герои - создатели немалых комических историй. (Лишь герой рассказа «Судьба человека» выступает рассказчиком драматической истории.)

Являясь своеобразным комическими двойниками центральных драматических героев, природные шолоховские рассказчики также выполняют литературно-формальную функцию - именно они оголяют и акцентируют, доводя до пародии, тенденции современного литературного процесса. В «Поднятой целине» функцию смехового читательского двойника выполняет дед Шукарь. Шукаревские «брехни» о прошлой и настоящей жизни - это серия модернистских - одновременно беспорядочных и «нескончаемых повествований» (!) - практически по всем вопросам новой культуры. Прочитав в избе-читальне все «брошюры» (филигранная по точности характеристика состояния народных библиотек), этот герой исполняет грандиозную смеховую работу по переводу на общенациональный язык ключевых абстрактных понятий и мотивов советской литературы, которые легко декодируются в его «брехнях» - о том «как обсуждали с ним планты» и какой он «страдалец за советскую власть», как он «много брошюр прочитал» и как приглашали его записаться в «ячейку», как пострадал он в классовой борьбе, убегаю от «кулацкого» кобеля («упал как скошенный и потерял сознательность») и как решил он вступить в партию («Сказано русским языком: хочу поступить в партию»).... Однако в романе прозвучит и суровый вердикт шукаревскому книжному самообразованию, и вынесет его «темная» крестьянка - старая Шукариха: «Научил тебя Макарка Нагульнов разные непотребные книжки читать, а ты, дурак, и рад? <...> Поздно мне учиться, да и ни к чему. Оно бы и тебе, старый хорь, на своем языке надо гутарить...»

Своеобразной развязкой коллизии читающего/нечитающего героя являются страницы романа «Они сражались за родину», посвященные рассказу Ивана Звягинцева о том, как испортилась его жена через чтение художественной литературы. В этом печально-веселом эпизоде романа - каждый поворот в рассказе героя эмблематичен, начиная с имени жены - Настасьи Филипповны. Многообразному пародированию в «слове» Звягинцева подвергается прежде всего эволюция героини от языка жизни к «книжному языку». Эти два языка и разворачивают рассказ Звягинцева, в котором узнается одна из ключевых сюжетных моделей советского романа 1920-1930-х гг. - движение героя «массы» от полюса несознательности к сознательной жизни. Не без пристрастия вводит Шолохов в рассказ Звягинцева и горьковскую политическую типологию нужных/ненужных книг для массового читателя, придавая ей новые пародирующие акценты, ибо в звягинцевской типологии узнаются платоновские интонации и любовный сюжет рассказа «Фро»(1936): к «хорошим книжкам», «интересным книжкам», «завлекательным книжкам» Николай относит книги про технику, про моторы внутреннего сгорания. Однако, как и платоновская Фро-Фрося, которую любимый муж Федор приучает к чтению технических книг, шолоховская Настасья Филипповна равнодушна вслед за горьковской, и к данной типологии: «Думашь, читала она? Черта с два! Она от моих книжек воротила нос, как черт от ладана, ей художественную литературу подавай, да такую, чтобы оттуда любовь перла, как опара из горшка».

Акцентная система в пародирующем слове расставляется Шолоховым неторопливо, но последовательно: от общего сюжета семейной жизни Звягинцева к жизни Настасьи Филипповны, а далее к «писанному слову» героини. Именно «писательские» опыты героини и намечают выход из пародирующей системы, опосредованно представленный в «текстологических» догадках Звягинцева. Обратив внимание в последнем в письме Настасьи Филипповны не только на диковинное обращение к нему «с каким-то Эдуардом», Звягинцев начинает догадываться, что письма к нему не написаны, а списаны из какой-то книжки - «... иначе откуда же она выкопала какого-то Эдуарда и почему в письмах столько разных запятых?»²

В этом смеховом выходе из книжно-писательской коллизии Шолохов итожил, думается, и опыт русской литературы первых четырех десятилетий, во многом предви-

дя и своих «последователей» в русской литературе второй половины XX в., дублирующих в многотомных романах собственные читательские опыты романов «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Предпочтение, отданное Шолоховым небольшим рассказам В.Шукшина, — было достаточно симптоматичным. Тема «Шолохов и его эпигоны» еще ждет своего исследования.

Две характеристики Ивана Звягинцева, которому доверено писателем подвести итоги книжно-читательской эпохи 1930-х гг., указывают на глубинную связь данного сюжета с «Тихим Доном». Эта связь - в смысловых кодах представления и выбора рассказчика: «богомольный Иван», как называет Звягинцева Лопахин, закончил в детстве церковно-приходскую школу. Смеховой выход Шолохова из книжно-писательских и читательских коллизий в 1940-е и 1950-е гг. был определен, а точнее, - предопределен прежде всего решением этой темы в «Тихом Доне». Решением мучительным для Шолохова.

Читательско-книжные линии и сюжеты «Тихого Дона» многообразны и многочисленны в своих историко-культурных смыслах и отсыпках. Разнообразны и повествовательные уровни и инстанции их развития, интерпретации и сюжетно-фабульной и мотивной актуализации: штокманский просветительский кружок, где казакам читают книгу по истории казачества, в которой «доступно и зло безвестный автор высмеивал скучную казачью жизнь»; дом купца Мохова, где собиралась «хуторская интеллигенция»; «освобожденная женщина» Елизавета Мохова; воспитанный на Тургеневе и Толстом Горчаков; имение старого Листницкого, поклонника историософских взглядов Мережковского («Петра и Алексея»); дед Гришака Коршунов, толкующий по Св. Писанию разлом хуторской жизни и т. д. «Тихий Дон» просто переполнен вкраплениями в повествование самых разных литературных аллюзий к читательско-писательским коллизиям литературного процесса первых десятилетий XX в. Так, например, найденная и не прочитанная Мелеховым «записная книжка» неизвестного погибшего казака-офицера представляет миниатюрную энциклопедию культурной жизни начала века и одновременно является своеобразным метатекстом ядра романов 1920-х гг. об интеллигенции и революции. Текст записки-обращения Мелехову «... а ты идешь со своими сотнями, как Тарас Бульба из исторического романа писателя Пушкина...» - свидетельствует, в частности, сколь пристально присматривался Шолохов к поиску и направлениям пародирующего феномен «полунинтеллигенции» М.Зощенко. Лаконичность и даже в какой-то мере манифестируемый антипсихологизм воссозданного в первой главе второй книги коллективного портрета «хуторской интеллигенции» прочитывается в большом контексте русской литературы как прямая авторская отсылка к главе «Прогрессивные люди уездного города» романа «Некуда» Н.Лескова, к роману «Санин» Арцыбашева, а в современном шолоховскому роману контексте как глубоко ироническое отношение писателя к спорам о психологизме, «новом реализме» и формальной «учебе» у классиков. И т.д.

Однако все читательско-книжные сюжеты и мотивы поглощаются в «Тихом Доне» языком той правды жизни, которая не вмещается ни в одну из бесчисленных читательско-писательских моделей как классического, так и нового века. Отметим лишь, что представить себе читающую книжки Ильиничну Мелехову так же невозможно, как и затем великих старух прозы Распутина и Абрамова. Единственный герой, соприкасающийся и проходящий через все читательско-книжные центры романа, - Григорий Мелихов. Однако особенность и выделенность Мелихова и в том, что любое противоречие в его пути снимается не за счет выбора идеи-книги, конкретной и стремящейся стать абсолютной, но всегда - жизни.

Остановимся лишь на трех эпизодах, в которых Мелихов выступает читателем разных типов текстов: религиозного и политического - в 3-й книге, философского - в 4-й.

Начнем с политического текста, разными формами которого просто переполнена 3-я книга (воззвания, листовки, решения, обращения, приказы). Газетная статья «Восстание в тылу» полностью приводится в тексте романа и имеет двух комментаторов. В кудиновской реплике - «Расчудесно они нас описывают!» - акцентируется литературность данного политического текста. Реакция Мелихова, прочитавшего газетную статью, немногословна: «Григорий dokonчил читать, мрачно усмехнулся. Статья наполнила его озлоблением и досадой. «Черкнули пером и доразу спаровали с Деникиным, в помощники ему зачислили...»». И как контрастные содержательной логике статьи возникают далее вопросы и воспоминания Мелихова, а политический вердикт вынесенный его жизни монологическим письменным текстом («смертельный удар врагу») с наибольшей силой «отстраняет» незамысловатое письмо Мелихова Аксинье, текст которой также приводится в данной главе полностью. Композиционный прием введения двух письменных текстов - политической статьи и письма (это «листок» из записной книжки Мелихова) наполнен самыми многообразными литературными аллюзиями, но главное - «работает» на усиление общего трагизма свершающихся кровавых событий.

Заметим лишь, что романтическая риторика данной политической статьи - квинтэссенция будущих советских историй России, а также логики построения концепций исторического заблуждения и отщепенства Мелихова. Для доказательства других, прямопротивоположных концепций (истории и героя) в «Тихом Доне» есть не менее убедительные, но столь же романтические по риторическим формулам политические тексты.

Религиозный текст - Св. Писание - цитируется в 3-й книге романа делом Гришакой Коршуновым двум выпускникам церковной школы - Григорию Мелихову и Мишке Кошевому. Выбор Гришаки на эту роль мотивирован всем предшествующим повествованием: Гришака прошел турецкую войну, за храбрость и боевые отличия имеет Георгия; пользуется «всеобщим уважением за ясный до старости ум, неподкупную честность и хлебосоольство...»; человек он церковный; читает Евангелие... Власть «большаков» дед воспринимает как войну Руси против казачества, и «верой-правдой» служивший белому царю, в дни начала верхнедонского восстания Гришака утверждает, что «власть эта не от бога» и просит о заступничестве Царицу небесную. При встрече с Григорием перед нами Гришака, проводивший в последний путь сына Мирона, Гришака в те дни, когда из праведной война все более обретала черты «первобытной дикости» и «тень обреченности тавром лежала на людях». Это те дни восстания, когда Григорий Мелихов - « в какую-то минуту чудовищного просветления» - впервые кается в грехах убийства, кается перед миром.

Так глубинным поэтическим подтекстом мотивируется при встрече с заболевшим «тоской» Григорием «слово» Гришаки, что все совершается по Божьему указанию и что «всякая власть - от бога». А главное - и выбор главы Ветхого Завета, которую дед читает Григорию. Это - 50 глава Книги пророка Иеремии (50; 2-3, 4, 6-13). Иеремия-пророк, один из почитаемых в христианстве, возвещал слово Божие и в храме, и во вратах города, и в частных домах, всеми силами стараясь предотвратить бурю, готовую разразиться над упорным в своих грехах народом, обличая и убеждая неверующих, живущих «по внушению и упорству злого сердца своего» (7: 24). За неверие и богоправные поступки Бог Сафаоф сначала покарал Иудею и Иерусалим, разрушив и отдав в рабство Вавилон, а затем - и сам Вавилон, наказанный за «гордыню» (50: 31).

В толковании текста Св. Писания, проведении аналогий и параллелей, дед Гришака конкретен и прагматичен, Так, Библейский север Гришака соотносит с конкрет-

ным по отношению к Дону севером: север - это и Красная армия, и Москва, это и «жиды», но это примкнувшие к красным северные казаки округа Дона. Гришака уверен, что новая власть «анчихристова», как и в том, что от Бога, а потому непокорившиеся ей казаки - посрамленные Богом «вавилонщики». Гришаковские «вавилонщики» обращены к великому грешнику Мелихову и потому, думается, включают в себя не только ветхозаветный, но новозаветный смысл. «Как Вавилон сделался ужасом между народами!» - восклицает пр. Иеремия (50: 23;51:41). В «Откровении» Вавилон означает противника Христу и церкви Христовой (18,19), царство антихриста, прогнавшее небо и растлившее землю «яростным вином блудодеяния», «любодейством своим» (Откровение, 18: 2; 19:2). Гришака сведущ в религиозных текстах, ибо его призыв к покаянию миру исходит прежде всего из содержания Апокалипсиса - «Откровения св. Иоанна Богослова».

В гришаковском толкования Св. Писания Шолоховым, думается, вполне сознательно контаминированы самые разные явления культуры первых десятилетий XX в., так или иначе связанные с опытом прочтения русской революции через Библию (лирика С. Есенина, Вяч. Иванова, М. Кузмина, В. Брюсова, А.Белого; исторические романы Д. Мережковского и М.Алдана; сменовеховство, евразийство; чтение Библии как констатный элемент в прозе 1920-х гг. о революции и гражданской войне, а также в писательских дневниках этого времени).

В реакции Григория на текст Св. Писание подчеркивается непонимание и тревога: «плохо понимаем церковнославянский язык» Григорий трижды задает вопросы («Это к чему же ? Как понять?»; «Как же это понять?») и просит пересказать ему русским языком церковный текст. Неудовлетворенность Мелехова от диалога с Гришакой мотивируется в данной сцене также подчеркнутым снижением фигуры самого толкователя Библии. Однако это и так, и совсем не так. В размышлениях героя действительно звучит, может быть, один из самых главных вопросов русской религиозной жизни: «И вот сроду люди такие, - думал Григорий, выходя из горенки. - Смолоду бесуются, водку жрут и к другим грехам прикладываются, а под старость, что не лютей смолоду был, то больше начинает за бога хорониться. Вот хучь бы и дед Гришака. Зубы - как у волка. Говорят, молодым, как пришел со службы, все бабы в хуторе от него плакали, и летучие и катучие, А зараз... Ну уж ежели мне доведется до старости дожить, я эту хреновину не буду читать! Я до библиев не охотник».

В мелиховской реакции, своеобразной формуле рационального отношения к вере и Богу, которой много раз оправдывалось (и оправдывается) историческое безверие XX в., Шолохов подчеркивает ее психологические истоки, ибо греховной жизнью дед Гришаки Григорий хочет оправдать свою прошлую, настоящую, да и будущую жизнь. Экзистенциальная яма, вырывается не раз Шолоховым перед его героем, напоминая и в данном рисунке мелиховских размышлений о фундаментальной забвотой правде: что и весь жизненный путь Григория, как и Гришаки, это уклонение от некой высшей идеи.

Пафос категоричного мелиховского умозаключения («не буду») понижается и опровергается всем дальнейшим повествованием, обнажая в подтексте пророческую силу библейского текста: сказанное героем как истина тут же словно забывается, разрушается и стремится к недосказанной истине, тому, что больше человеческого «слова». Библейский текст в романном пространстве «Тихого Дона» выступает не как архаический, а как идеальный, задающий иерархические отношения между реальным сознанием и истиной-правдой, которая не отдается Шолоховым ни одному из героев. На этот эффект работают и, казалось бы, боковые детали: слушая библейский текст, Григорий «ощущал легкую досаду» непонимания, а затем думает «о таинственных, непонятных «речениях» Библии». С той же обезоруживающей непоследовательностью

строится далее диалог возвращающихся от деда Гришаки Наталья и Григория, непонимающих, как утверждалось страницей выше, «церковный» язык деда. Однако диалог героев утверждает обратное: и Наталья, и Григорий догадываются, о чем говорил приведенный Гришакой библейский текст. Почти цитируя обличение пророка Иеремии («Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц», 5: 7), Наталья начинает разговор с Григорием: «Рассказал бы, как пьянствовал под Каргинской, как с б... вязался...». Разрыв Натальи и Григория начинается в этой завязке и имеет, смеем сказать, философско-религиозную завязку. Наталья берет на себя роль судьи, при этом исходит из моральных заповедей, отдельно взятых и вырванных из общего содержания Св. Писания. Натальино толкование, как и Гришаки, Мелихову, ходящему «по краю смерти», ничего не дает и дать не может, оно не может справиться со всеми вопросами, задаваемыми человеку жизнью: «Ха! Совесть! <...> Я об ней и думать позабыл. Какая уж там совесть, когда вся жизнь похитнулась... Людей убиваешь... Неизвестно для чего всю эту кашу... Да ить как тебе сказать? Не поймешь ты! В тебе одна бабья лютость зараз горит, а того ты не додумаешься, что мне сердце точит, кровь пьет. <...> Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый... <...> Все у меня, Наташка, помутилось в голове... Вот и твой дед Гришака по Библии читал и говорит, что, мол, неверно мы свершили, не надо было восставать. <...>» В вопросах Григория, передоверенных Наталье, связь с загадочными и таинственными словами Св. Писания обретает не логически-моральную, а сокровенную христианскую глубину: в страшной правде жизни виновен прежде всего он сам, великий грешник. Неспособностью утешать скорбь Григория Наталья ускоряет драматическую развязку (краткая Ирина в рассказе «Судьба человека» пишется во многом в развитие этой коллизии «Тихого Дона»). Подменив «Бог есть любовь» Св.Писания на почти аксинию формулу «Любовь есть бог», Наталья идет на преступление, проклиная Григория и убивая неродившегося ребенка. Как хулу на Бога прочитывает этот поступок любимой невестки старая Ильинична.

Повторяя сюжет с чтением текста Св. Писания в заключительной главе 3-й книги, Шолохов скорее всего нюансирует политические и психологические детали встречи. Старый Гришака, «оставленный родными», у которого даже нет в руках Библии, предлагает победителю-«анчихристу» Мишке прочитать через тексты Св. Писания последнего исторической победы его класса. Из Книги пророка Иеремии Мишке дед читает по памяти 15 стих. 23 главы — обличающий пророков Иерусалима за ложь и нечестие: «Посему так говорит Господь Сафаоф о пророках: вот, Я накормлю их поlyingю и напою их водою с желчью, ибо от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на землю». Это глава из первой части ветхозаветной истории, которая завершается Божьей карой иудеям за богоотступничество. Однако онтологический смысл текста пророка Иеремии не доступен победителю Мишке, для которого ход истории определяется лишь социальными вопросами - «арифметикой простой». Алгебра же библейского текста в том, что не человек, не класс, не народ определяют волю истории, а Бог. В мишкиной «арифметике» словно бы повторяется и нюансируется логика безблагодатного восприятия Книги пророка Иеремии, которую предложил С.Есенин в знаменитой «Инонии» (поэма имеет посвящение: «Пророку Иеремии»). На библейский текст Мишка реагирует не вопросом, как Григорий, а ответом, говоря Гришаке о настигшем богатых возмездии. Гришака соглашается, и как признание правоты Божьей кары произносит последний стих, последней главы пророка Исаи. Таким образом, на покаяние Гришаки Мишка отвечает поступками, диктуемыми простой «арифметикой», - убийством беззащитного юродствующего старика и поджогом. Гришака отходит в мир иной с чтением молитвы.

Однако Мишка не может убить тексты Св. Писания - они продолжают работать в глубинах шолоховского текста, многое объяснять и предвосхищать в дальнейшем пути героя: гибель семьи Кошевого; отношения с Ильиничной; встречу с Григорием, андиалог с которым является следствием того, что миссию ветхозаветного Бога Мишка доверил исполнить себе; отношение к казакам; свадьба с Дуняшей и т.д. Нам представляется, возможно это и натяжка, что в сюжете Гришаки Коршунова, Шолохов объяснялся также и с Львом Толстым, с одной стороны, и с теми собратьями по перу, что провозгласили с середины 1920-х гг. «Учебу у Толстого», выбросив из Толстого как религиозную проблематику, так и его путь от литературы к проповедничеству. Убивающий беззащитного Гришаку Мишка Кошевой - не шолоховская ли это метафора толстовской компоненты в эстетике советской литературы.

Сюжетом начертанных на «песке» (!) слов «Серп, молот», которые «интеллигент» Капарин предлагает прочитать наоборот Мелихову, Шолохов возвращается одновременно к библейскому и политическому тексту, контаминируя стоящие за ним тенденции культурной жизни XX в. (чтение и интерпретация философами и писателями Евангелия, эсхатологические мотивы и сюжеты современной «Тихому Дону» литературы). Явное понижение статуса философско-логического постижения смысла истории в этом диалоге достигается, думается, сознательным выбором собеседника Мелихова. Интеллигент Капарин это не прошедший пекло двух войн Евгений Листницкий. В читателе книг, штабисте-философе Капарине словно бы пишется наконец-то на страницах «Тихого Дона» облик мелькнувшей во второй книге романа и столь не любимой писателем «мыслящей интеллигенции». Капарин у Шолохова доктринер, обманчивый призрак культурности, которой прикрывается зоологические инстинкты власти и индивидуального спасения.

Ремарка, завершающая остервенелый монолог Григория Мелихова о «мистических» основах жизни и истории - «с явственно прозвучавшим в голосе сожалением», - много стоит. Это и умышленная реакция на собеседника, да и на себя, ставшего неожиданно поверяющим веру разумом «интеллигентом», мало чем отличающимся от Капарина с его циничным неверием (ведь именно так услышал его собеседник, успокаивая Григория тем, что он сам неверующий человек). Мог Григорий, казалось бы, и не рассказывать о том, что он думал, надобности в этом ведь не было. Ремарка - работает и на включение монолога в литературные и не только литературные контексты. Монолог Мелихова о лютом безверии нового века - это торжественный апофеоз человеку, как полновластному хозяину бытия, апофеоз оправдания человека пред самим собой: «Какой там может быть перст, когда и бога-то нету? Я в эти глупости верить давно перестал. С пятнадцатого года, как нагляделся на войну, так и надумал, что бога нету. Никакого! Ежели бы был - не имел бы права допускать людей до такого беспорядка. Мы, фронтовики, отменили бога, оставили его старикам да бабам. Пушай они потешаются».

У Пьера Безухова, приговоренного к смерти и увидевшего «страшное убийство» в расстреле его товарищей по плену, «все завалилось в кучу бессмысленного сора» - «уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую и в свою душу, и в Бога». Герой-идеолог в русском романе 1920-х гг. и не мог, как будто, иначе думать о Достоевских и Толстовских вопросах русской жизни нового века, и он так думал. Кажется даже, что он имел больше оснований, чем толстовский герой, так думать о мире, завалившемся на его глазах в новом веке мире и о могуществе в нем сил зла. Завершив вторую книгу «Тихого Дона» изображением кровавой бойни, развернувшейся в Страстную неделю и достигшей кульминации в Св. Пасху, третью книгу - убийством деда Гришаки, казалось бы, кому как не Мелихову сказать, что те критерии истины, что заключены в Св. Писании, отменены войной. Отменены с такой же силой, как отменяют кровавые и братоубийственные события 3-й книги финал 2-й книги - слова, написан-

ные кем-то на могиле Валетки: «В годину смуты и разврата не оскорбите, братья, брата»... Однако у Шолохова получилось все-таки что-то другое. Сказать об этом главном вопросе культуры и жизни XX в. Шолохов не мог доверить ни Листницкому, размышляющему «наедине с самим» «как герой классического романа»(2,45), ни аморалисту Митьке Коршунову, словно бы являющемуся на страницах романа массовый аналог культа популярного в культуре начала века садовского «естественного человека»¹ ни благочестивому Гришаке, ни твердокаменному Кошевому...

Ни Достоевский, ни Толстой не наказывали героев за пространные диалоги о Боге и вере. В русской культуре начала века с ее многообразными формами богоискательства и богостроительства тяжба с Богом стала общим местом и из сферы «сокровенной» (о Боге с Богом) превратилась в публичную и даже театральную. Однако, заговоривший на эту тему Мелихов, будет наказан.

Заметим, что в разветвленной системе героев-идеологов «Тихого Дона» Григорий Мелихов наделяется особым чтением, в котором отказано равно воспитанному на классике Евгению Листницкому, Мишке Кошевому, прошедшему крут самообразования в кружке Штокмана, и даже «евангелисту» Гришаке Коршунову. Это, перефразируя поэта, бесплощадное чтение собственной жизни, то чтение, за которым в русской литературе вставали евангельские книги: *раскрытые книги*, означающие деяние и совесть каждого, и *книга жизни*, в которой написаны имена Святых. Это, утверждает Шолохов, чтение присокровенное — это исповедь и покаяние в грехах перед миром и жизнью. Как только Мелихов отказывается от него, он неотвратимо наказывается жизнью, «по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откровение; XX, 12). Лишь внешне кажется, что монолог Григория перед Капариным никак не связан со спеной гибели Аксиньи. Однако его связь в поэтике следующих за смертью Аксиньи эпизодов, выстраивающихся виртуозным переключением культурных кодов. Прежде всего — в самой уверенности Григория в собственные силы, дабы воспротивиться злему ходу его жизни (об этом он говорит Аксинье). Аксинья в последней встрече пишется Шолоховым как та последняя «баба», которой оставили фронтовики веру в Бога. В ответе на детский вопрос Мишатки — «...верно, что он бандит?», Аксинья не столько понижает социально-политический статус Григория, сколько мелиховский апофеоз человеку: «Никакой он не бандит, твой отец. Он так... несчастный человек». Все стремится к развязке главных мучительных религиозно-философских вопросов. Смерть Аксиньи — казалось бы финал судьбы героя, когда для него окончательно «завалился мир». Но жестокий реалист Шолохов лишает Мелихова подобной участи (она отдана Бунчуку, который после смерти Анны безвольно идет к смерти) и подобного права: он заставляя Мелихова «очнуться» и увидеть над собой «черное солнце» и «черное небо» — символы прежде всего присутствия Бога в мире, ибо «чернота солнца» указывает, как объяснял толкователь Апокалипсиса св. Андрей, архиепископ Кесарийский, прежде всего «на душевный мрак тех, которых постигнет гнев Божий»². То, что Мелихов так *прочитывает* эти символы, подтверждается дальнейшей, казалось бы, быстрой эволюцией героя к полосу смирения: слезы покаяния (не публичного); выбор пути непротивления злу и возвращение домой. На пороге «дома» Григорий оказывается ранней весной, время перелома от календарной зимы к весне. По современному календарю — к 1 мая ждут амнистия, но Григорий возвращается раньше, не дожидаясь амнистии. Он возвращается домой, наконец-то услышав последние слова матери и исполняет ее последнее желание — передать Григорию детей. По церковному календарю, которым неизменно отмечены все (!) события в романе, Григорий возвращается на пороге Страстной недели, за которой наступает Св. Пасха. Попытка интерпретации этого грандиозного финала в категориях и на языке политической истории (равно просоветского и антисоветского текста), оптимистические либо пессимистические иллюзии, проведен-

ные аналогии и документы о судьбах прототипов Мелихова - лишь обнажают неглубину нашего неверующего/верующего сознания и обличают нашу неготовность принять «героический смысл человеческой жизни» (С. Франк).

«Сияющее» солнце в финале романа - гимн не человеку, а миру в «его сокровенном звучании» и его Творцу, в руках которого суд над героем и над всеми свершившимися событиями. В самом заглавии романа Шолохов утвердит эту главную истину, так трудно открываемую человеком и литературой XX в. Шолохову нечем более успокоить героя, разделившего вместе с веком идолопоклонство перед человеком как носителем добра, разума и красоты, представления о человеке как инстанции высшей порядка на земле. С этим миром оставлена Мелихову тонкая нить связи - беззащитный ребенок-сирота с его «слабой силой детства» (Платонов). Эту же нить Шолохов затем передаст Андрею Соколову, как и мелиховские неразрешимые вопросы о судьбе человека в обезбоженном «холодном» мире: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что исказила? Нету мне ответа и не дождусь» («Судьба человека»).

¹ Лежнев А. Об искусстве. М., 1936. С. 130-132.

² Данные наблюдения героя отчасти мы можем считать смеховым автокомментарием собственной пунктуации, вопрос о которой, очевидно, не раз возникал при публикации (см. транскрипцию фрагментов рукописи 3-й и 4-й книги «Тихого Дона» в рукописях Шолохова Из творческого наследия русских писателей. М., 1995).

³ В прозе маркиза де Сада размышления о приоритете природы над культурой отданы самым осатанелым развратникам: «Злодей — это человек природы во всех случаях, между тем как доОродегельное существо является таковым лишь иногда»; «... прежде всего я сын природы, а уж потом сын человечества, я должен уважать законы природы и только потом прислушиваться к общечеловеческим установлениям, ибо первые суть нерушимые законы, а вторые часто меня обманывают» (Марки! дс Сад Жюстина М., 1994. С. 270, 216).

⁴ Толкование на Апокалипсис. М., 1901. С. 32.